

# «Склероз был настолько рассеянным,

## что забыл меня посетить»

Хотите верьте, хотите нет, а Никите Богословскому — 80!

Комс. правд. — 1993 — 21 мая — С. 6.

Богословского в нашей стране знают все поколения. Редкостное счастье: родиться до революции (в настоящей России?). Пережить коммунизм. Под старость оказаться опять в России. Няней, голодной, страшной (как когда-то?). Но... Богословскому везло всю жизнь невероятно. Это случай отчасти по Вяземскому: «Я пережил и многое, и многих. И многому изведаль цену я». Но далее сравнение заканчивается.

Существует выражение: «Человек молод душой». Есть в этом выражении что-то задиристско-комсомольское. Но, странное дело, оно как нельзя лучше подходит к Богословскому.

Вот он шутит, и мы от души смеемся. Он пытается скрыть за шуткой досаду, и становится безумно грустно. Он замолкает и улыбается, а его хочется слушать. И не перебивать ненужными вопросами. Потому что эпоха уходит зримо. Это больно. А вот Богословский не сдаётся:

— Склероз был настолько рассеянным, что забыл меня посетить.

Он встретил нас рассказом о том, как обиделся на нашу газету. Но, кстати, несмотря на обиду, он до сих пор читает «Комсомолку». А выписывает ее с довоенных времен.

Богословский:

— «Комсомольская правда» однажды определила день моей кончины. Это был конец шестидесятых годов. Мне выдали удостоверение «Комсомольской правды», в котором стояла пометка — «пожизненно». И тут же — срок окончания документа — 31 декабря 1969 года. Когда я вапим об этом сказал, главный редактор жутко перепугался. Замазали все цифры и написали — «бессрочно». Это удостоверение я храню до сих пор.

— Никита Владимирович, глядя на вас, не скажете, что вот-вот вам исполнится 80. Как вы себя ощущаете в таком возрасте?

— Черт его знает. Мне всегда помогало выжить чувство иронии. Я не особо серьезно отношусь даже к серьезным событиям. То есть, конечно, понимаю их значимость. Но если случается какая-то неприятность в жизни, то я быстро соображаю, что через две недели буду смеяться над этой неприятностью. Поэтому и надо откладывать, нужно смеяться сразу.

— Вы живете безмятежно?

— Безмятежно? Нет. Я существую с ощущением радости жизни.

— А что это такое?

— Возможность заниматься тем, что мне нравится. Когда-то покойный Ильф сказал мне одну фразу, которая вошла ни в одну из его записных книжек. Она до сих пор справедлива. Он сказал: «В наше время общественной деятельностью называется любая, за которую не платят деньги». На этой стезе я по мере своих сил и желаний как-то упражняюсь. Кроме того, я никогда не езжу никуда отдыхать. Лет, наверное, тридцать — сорок. Просто переключаюсь на другую работу. С музыки на литературу, например. Кстати, совсем недавно у меня вышел роман про композиторов. А год назад — роман про кинематографистов. И масса народа обиделись. Потому что, несмотря на сильно загрими-



рованный внешний вид, они узнали себя по характерам, поступкам. Видимо, то же самое произойдет сейчас и с композиторами. Некоторые из них, по моим расчетам, перестанут здравствовать. А другие просто не смогут этого сделать, поскольку они уже там (Богословский направляет указательный палец на небо. — Авт.) или, вернее всего, там (палец указывает направление ада. — Авт.).

— Похоже, вы совершенно не чувствуете усталости...

— Никогда. Наше поколение — те, кто остался, — держится.

— О вас достаточно говорят и пишут. Чего больше в этих рассказах — вымысла или правды?

— Не знаю.

— Давайте поговорим о вашем детстве. Это правда, что вы в три года начали заниматься музыкой?

— Меня заставляли заниматься музыкой именно с трех лет. Продолжалось это лет до восьми. И неслыханное мое отвращение к этому занятию мои родители решили пресечь интересным способом. Они обещали, что если я буду приносить из школы пятерки по поведению, то от этого мучения меня освободят. Но вы же понимаете, что графическое начертание тройки очень похоже на начертание пятерки.

Лет в десять я вдруг почувствовал непреодолимое желание попойти к роялю. Совершенно не зная музыки, я пытался импровизировать, что-то играть. Тогда родители показали меня другу нашей семьи, композитору Семёну Викторовичу Панченко, ученику Танеева. И он взял со мной заниматься композицией. А Панченко через два года показал меня композитору Александру Константиновичу Глазунову. Который разрешил приходить к нему домой по воскресеньям. Мы играли с ним сочинения в четыре руки, он рассказывал мне о своих друзьях по «Могучей кучке». Причем

рассказы эти до сих пор, думаю, не для печати. В 1928 году он уехал во Францию. Навсегда.

— Никита Владимирович, вы прожили интересную жизнь. Кругу вашего общения можно только завидовать. Но, извините за бестактность, вы достаточно легко пережили тридцатые — пятидесятые годы.

— Хотите спросить, почему меня не посадили? Не знаю. Просто, наверное, родился под счастливой звездой. Меня очень не любил Сталин. Еще бы подгода он пожил, и... Слышали о постановлении партии по второй части фильма «Большая жизнь»? Сталин был недоволен этим фильмом и особенно возмущался музыкой: введенные в фильм песни проникнуты кабацкой меланхолией и чужды советскому народу. А песни были такие: «Спят курганы темные» и «Три года ты мне снилась».

— Вы были представлены к сталинской премии. Но так ее и не получили. Если не секрет, почему?

— Из-за одной своей шутки. Была одна ужасная газета, ее название я забыл. Газета специализировалась на разгроме деятелей искусств. Причем был важен сам факт упоминания фамилии, а вовсе не содержание статей. Там был редактором некто Александров, который параллельно заведовал агитпропом в ЦК. В одном публичном месте я назвал эту газету «александровский централ». За что впоследствии и поплатился. Позже я встретил этого Александрова. Он с гордостью мне сказал, что лично вычеркнул мою фамилию из списков кандидатов на сталинскую премию.

— Вы состоите членом четырех творческих союзов. Это приносит какие-то блага?

— О своем членстве в союзах я узнаю в конце года, когда меня просят задолженности погасить. Больше с меня ничего не требуют. А сам я

ничего не прошу. Не люблю быть кому-то обязанным.

— Правда ли, что вы неплохо фотографируете?

— Время от времени, особенно этим не увлекаюсь. Хватает музыки, писательства и библиотеки. Причем я держу только те книги, которые можно перечитывать.

— Строгое у вас отношение к книгам.

— Есть некоторые исключения. Фадеев, например. Мы с ним дружили в свое время. Зощенко. Книга 1954 года, с дарственной надписью. И только недавно я обнаружил сделанную карандашом приписку: «О мои грустные опыты! Зачем я захотел все знать? Вот теперь я не умру так спокойно, как надеялся». И я тоже.

— Давайте немного посплетничаем. Правда ли, что с одним из известных композиторов того времени, Блантером, вы были в жутких отношениях?

— Я очень не любил Блантера. Однажды, кстати, был гигантский скандал. Какая-то учительница из Риги прислала мне старые ноты для фортепиано, сопроводив посылку недоуменным письмом. Некоторое время спустя было совещание в Союзе композиторов о творческом методе, и я дал композитору Жарковскому эти ноты сыграть. Жарковский исполнил, после чего Блантер жутко побледнел. Остальные представляли финальную сцену «Ревизора». Сейчас я вам наиграю.

Ноты эти, — бумага желтая, а композитор — какой-то немец, — у Богословского оказались под рукой. И он наиграл. Мелодия угадывалась легко, и даже слова сами собой приходили: «Весенний вальс «Осенний сон» играет гармонично». Было же отчего побледнеть в свое время Блантеру.

— Несколькими годами назад вы заявляли, что прекращаете всякие отношения с государством и начинаете работать на себя. Вы держите свое слово?

— Конечно. И работаю в свое удовольствие. Может, кому-нибудь это и будет интересно. Начнут рыться в архивах ЦГАЛИ...

— Почему вы все-таки «отошли» от дел?

— Сейчас царит рок. А я это не умею делать. Смог бы, обладая профессиональной техникой и опытом, но это достойные молодых. К року я отношусь с глубоким уважением и интересом. Попадают очень талантливые люди.

— Например?

— Шевчук. Гребенщиков.

— А как же симфоническая музыка?

— Вот у меня восемь симфоний. В основном их исполняют за границей. Обидно. Потому что я пишу для своих...

— Вы выступаете сейчас?

— Даже послезавтра.

— А в честь вашего юбилея будет торжественный вечер?

— Не-а.

— Почему?

— Это стоит сейчас такого количества... нервов. Другой артист нет в Москве, другой болеет, у третьего — декретные дни. Оркестр нужен. Оркестр стоит дорого. Спонсоров искать? Это все-таки милостыня.

— Но друзья наверняка поздравят?

— Друзей мало осталось.

— Никита Владимирович, а в молодости вы верили в светлое будущее?

— По совести говоря, я сильно в этом сомневался. И продолжаю сомневаться. Хотя, по большому счету, меня никто никогда не зажимал.

— Знаете, не хочется вам льстить, но очень жаль, что вы давно не пишете песен.

— Мне тоже жаль.

— Расскажите о Бернесе. Ведь вы были очень близкие друзья.

— Мы не расставались с ним до его смерти. Понимали друг друга...

В Киеве однажды жили с Марком в одном номере гостиницы. У нас всегда собирались актеры после съемок, гуляли до поздней ночи. А рядом жили какие-то два бухгалтера из Гомеля. И постоянно нам стучали в стенку.

И тогда Марк позвонил в их номер и строгим голосом спросил: «Товарищи, вы члены партии?» Те радостно ответили: «Да». Бернес: «Я обращаюсь к вам, как к членам партии. Дело в том, что наша гостиница обслуживает интуристов. Тут приехала американская делегация, и мы вас очень просим на ночь освободить этот номер. Завтра утром они улетают. А мы вам постелили в красном уголке. Вы особенно не одевайтесь. Накиньте только пальто и возьмите чемоданчики». Эти, естественно, ринулись выполнять партийный долг. Заходя в красный уголок. А там столы стоят буквой П, и все высокое начальство города чествует американского летчика Чарльза Линкольна, который, как известно, первым перелетел океан. Эти двое в калесах доходят до перекладина столов и синхронно говорят: «Ага!»

Финальная сцена «Ревизора».

— Скажите, а воспоминания не дают?

— С какой стати? Наоборот, я публикую во многих газетах эти самые воспоминания: «Что было и чего не было». На очереди у меня Александр Федорович Керенский, Матильда Кшесинская, Феликс Юсупов, Отто Скорцени и милейший мужик, с которым я и Сергей Смирнов, автор «Брестской крепости», однажды, в середине шестидесятых, весело ужинали в Мадриде. Теперь этот мужик стал испанским королем, его зовут Хуан Карлос.

— Наивный вопрос: вы никогда не думали, что было бы с вами, если б в 1917-м не случилась революция?

— На этот вопрос я могу ответить более или менее точно. Мой отец был камергером императорского двора. По всей вероятности, я учился бы за границей. Наверняка я занялся бы музыкой и закончил бы Парижскую консерваторию. И уж совершенно точно никогда бы не написал тех песен, которые у меня есть.

— Вам никогда не было обидно за эту приставку «бы»?

— Что вы! Заподлатые мечтания отсутствуют напрочь. Я жил так, как хотел. Это неплохо!

Он выжил благодаря иронии. Видимо, это тот случай, когда ирония идет во благо. Но, странно, недавно Наум Коржавин оставил такую фразу: «Ирония — это боль обманувшейся любви».

Мария АНДРЕЕВА,  
Серафим БЕРЕСТОВ.  
Фото  
Евгения УСПЕНСКОГО.